

Иларион ПРАСОЛОВ

(Воронеж)

выходили с полком
в чисто поле рубать-стрелять,
облака поднимали
на пиках в буланую стынь,
откликалось
нам небо водою на каждую пядь
бородевших рогозом болот
и бурьянных пустынь.

мы — отшибная рать
у подола седой Богородицы,
мы — таёжная кротость
востока кромешно дальнего;
коли выпадет дождь —
разменяй же его на безводицу,
коль положат в дорожную хлеба —
возьми да отдай его.

коли вывернет высь
и с изнанки заявится бес,
коль снега Ангары
разручатся в брусвяную сныть,
наши дети
поднимут низины и выплюнут спесь,
наши внуки

наследуют землю и будут ей жить.

я войду в рай взъерошенный
с горьким ничем за душою,
и мой полк разольётся за мной
по ресницам зимы;
заструится любовь
из натруженного штыкового,
ведь любовь —
это всё,
что осталось
таким,
как мы.

выверен шаг
по брустверу коченелому,
предрешён,
вымерен бег по оврагам —
скороченный и негромкий.
пустошь льняную
люлюкаешь, вспарываясь о рожон,
всё-таки
вымолив пропуск
за рамочку фотоплёнки,
вылюбленной добелá,
вымятой пальцами милыми.
куришь
и сплёвываешь все
«были мы?», «были ли?»,
в заповедь
заклячая:
«мы есть».

век цифровой мой,
что в «цифру» меня закутал,
волость моя,
с которой помолвлен с утробы,
сырость гнедая,
отчерченный нашим хутор,
март,
что приходит,
спадает на шлем крутолобый,

веки мои свинцовые

опожаривая

так немо.

вымолюсь,

выпрошусь

через все «мил» и «не́ мил»,

пусть

и числа им

несть.

баю-бай,
разнотравье моё
дичалое, подколейное —
погосты
бугристые, неотпетые,
крытые васильком;
творожная мокрядь головушке разлихой —
елеем,
урядничья сбруя подкошенному горбу —
силком.

по самым краюхам,
по вытаявшим твоим рытвинам,
носился,
сплюнув тоску, в околевшей сотне.
по сёлам —
хлеб-соль, кузьмичи,
образа с молитвами,
по стéпи —
бурьян, голодуха
да Спас в полотнах.

по куцей полыни,
сквозь горечь собачьего воя,
на шашке
натруженно выносил
свой оброк —
земли для меня не нашлось,

так сыскалась воля,
креста для меня не нашлось,
так сыскался Бог,

баю-бай,
засыпай, мой Унгерн,
царёк Урги,
порубим ещё,
когда татарва оборзееет;

моё разнотравье
в горячке жуёт матюги,
сплетая в трикветр
Амур,
Селемджу
и Зею.

пилот,
несущийся в неизбежное, не мешкает ни минуты,
оттягивая штурвал на себя,
забирается
выше, выше,
и воздух
разбрызгивает по крыльям, как горсти нута
(на высоте он сыпуч и твёрд —
проглатываешь и дышишь).

пилот замирает,
винт стряхивает с себя наледь,
как совы
отряхивают свои перья от рыхлого снега,
машина сваливается
в штопор, безрѣвно, не просигналив,
и снова выныривает
на пик, в слоистую негу.

а вечером
мы с ним пьём (только вечером, ведь работа) —
сначала он ропщет,
мол,
"настохренела мне эта рейсовость —
ну, сам посуди,
в чём кайф?
так ещё по субботам..."
а я ему даже завидую —
берцы-то не гермесовы.

потом,
чуть поддатые,
громко вваливаемся в ангар,
прокатывается эхо,
друг поглаживает по фюзеляжу,
добрееет, не растеряв градус,
в нос прошибает гарь,
в последний раз говорит,
что рейсы те, всё-таки, лажа,

и в красках
рассказывает мне про крылатых песцов —
с мохнатыми снежными гривами,
сероглазые, шестихвостые,
они проносятся
через небо похрустывающей рысцой,
следами
рисуют на нём неоновые перехлёсты.

с утра
друг вновь пропадает,
прокаливая турбулентность,
рейсы не бросил
(хоть и поварчивал мне по-пьяни),
всё так же
закручивает в уробóрос
воздушные ленты,
песцы же
расплёскивают за ними
северное сияние.

ЦИТАДЕЛЬ

I.

копьем в наледи
я пробиваю мякоть
безбрежных небес

II.

Сбежать
и зарыться
в отлюбленный март с башкой,
Да выстроить скит,
стяжелив топорischem плечо.

Созвездия
скреплятся звонко
в затянутый койф,
В ладонь мне спадёт млечный путь
воронёным мечом.

В камнях,
где курчавое солнце
боится пройтись,
Я вычерчу лик его в буре лучей
остриём.

Мой скит — это выстрел,
что бросится всполохом

ввысь;

Мой скит — это выстрел,
и плоть ему — не закон.

Бескровная почва
повыкормит
бурые стены,
Валы прорастут над пустыней,
не знающей ног.

Я взмахом клинка
эти скалы
в цветы разодену.

Мой скит — цитадель,
и закон ему — только Бог.

III.

а воли
такой непомерной
не сыщешь нигде —
такой,
чтобы вечно плутали в ней
Унгерн и Скобелев.

раскинулась
твердь моя
росчерком бледных огней,
мои сыновья в ней

кочуют
бархановой пробелью.

и стелются
метры квадратные,
метры несметные
по серым пескам
человеками косоротыми.

МОИ СЫНОВЬЯ
до единого все —
бессмертные.

МОИ СЫНОВЬЯ
до единого все —
сироты.

IV.

Сколько я вижу
иссушенных ваших рук.

Сколько
в руках ваших
проголоди и рыцарства.

С нежного Севера
шли
в огнедышащий Юг,
полчищами кромешными

в край пережёванный,
строим,
гордо вздымая
высеченные лица
вверх,
в горизонт,
пересветами злыми раскроенный.

В космосе океана Северно-Ледовитого
пропадая,
в айсберги кроткие
превращались,
в снег над державой.

Что вам их кореш с отдела?

Что вам их ДАИШ?

Войны
затачивали железо
о вашу шершавость.

Войны
разливисто ныли,
когда вас забрали.

Я позову вас,
как только все башни заржавит.

Я позову вас,
и всех расцелую

в забрала.

V.

Под мякишем неба
по камешку собирал,
ворочал
гордыню свою недоношенную,
злобу неприхорошенную.

Всё жаждал
взглянуть
в твои голубые очи.

Смотри на меня, смотри —
вот скалы мои и коршуны,
вот кровь моя,
вот монастырь,
вот копьё моё жалящее,
и дóсуха пережатая,
рóдная сизая даль.

Я шёл
по дороге в рай
перевелами и пожарищами,
и кроме Петра
меня там
никто не ждал.

Повыстрадан,

да не прострелен
мой скомканный мрак.

В лазурь мотыльковую
крепость возрастёт
на кости.

Каким бы взбешённым
и проклятым
ни был мой враг,
на каждом патроне
я напишу:
«прости».